

Во мне по утрам живёт орфеева голова,
выходит со мной в новый Иерусалим —
засовы её крепки, хотя и скрипят,
глаза открыты и мир, как вдова, горит.

Ходики изнутри у неё стучат —
говор смутен, словно аккадский, или
выжженная на лбу у осла печать
времени, что с морем во мне забыли.

Медленно ключ творит в скважине оборот,
ошупывает в темноте лобную, затылочную или темень,
Аид, который каждый из нас — пока он плод,
голоса стебель, сжатый светом тяжёлым в семя.

Слышу, как тик, этот ключ, кодировку, ход —
так отверзаются ямой часы за стеною
и, как колодец из человека похож на код,
так и пустоты во мне равны со мною.

Их заполняет небо, парковый шелест, звезды
лицо удлинённое до ночи крошечной и слепца, что предметы
делает речью своей, движением пустоты
и, словно лёд в гортани, выжигающим светом.

И расширяется орфеева голова, словно тропа
по которой всплывут со мною
эти ошмётки неба тире песка
дерева или адского перегною,

и каменеет волна, как слепой прозрев,
и выжигает, как лев, всё нутро обузы,
и ты — словно выстрел — вдаль от себя летишь
там, где шумит, как раковина расширяясь, голова медузы.

ЦЕЛЛОФАН [Лазарь]

Как дерево вращается в целлофан
который — словно голос — шелестит
в его ветвях — земля своим кротам
продляет [в тьму и норы] света винт —
как входит крот в печаль свою и скорбь,
и воздух за собой, как огонь, несёт,
и режет, как подземный паровоз,
её древесный медленный полёт.

Так дерево, похожее на взрыв,
из земляной и смёрзшейся петли
восходит с целлофаном на восход —
и кто его теперь там восхитит?
чей кокон будет мраком, полотном?
кто в дерево посмотрит, как в разрыв,
где птица так похожа на окно —
полётом никого не восхитив?

Целует птица целлофан и тем
из темени вытягивает вид,
и говорит огню: отстань, отстань —
и, следуя по возгласу, горит:
внизу её земля, внутри зола —
земля хрустит, ну а зола кругла,
как всякий прах, что шариком летит,
исполненный дыханием дотла.

И слышен голос из земли глубин:
восстань в моей пустыне, виждь и внемль,
и нарисуй, как воды, мне круги
спасения, похожего на чёлн
суда последнего, где целлофан лежит,
как поцелуй, на воздухе, плывёт —
а в птице, вероятны дождь и смерть,
чье дерево единственный потоп.

Ибо каждый из нас здесь и жертвенник, и Авраам,
каменный свет держащий в своих губах —
словно тот — лестница, на которой Исаак
играет в салочки с бабочкой — и изгоняет мрак...

Вот все стада твои, идущие на водопой —
свет, что глядит в лицо воде, и лицо своё
не узнаёт — так морщина вдвойне лица
больше, поскольку лицом надвое разделена —

выпьешь себя и дальше в огне пойдёшь,
словно ребёнка и Бога, бабочки дрожь
неся на руках у рисунка воды, вдоль себя —
жертвенник, сын, Авраам, стая из голубят.

ГОСТЕПРИИМСТВО АВРААМА

И воспалённая бумага Рождества из перспективы смотрит — и чуть дальше предмета, его тени, тождества и торжества, и времени тьмы раньше — поскольку никогда не настаёт вчера, сегодня, завтра там, где лица глядят сквозь человеческий проём, который словно зёрнышки клюёт в ладони их сокрытая синица.

И звук подвешен в дереве, чья нить — не то чтоб свет, но вскоре будет светом, что камня свиток в небо разогнёт, и отряхнёт от смерти, но не это успеем мы услышать — птичий гул, зрочка воронку, эхо называнья нас мотыльками, что летят вокруг сквозь карантин, покинутый досрочно, и снегопада длинное мерцанье.